

Повільно і непереможно
Звабливо зводить очі
І – раптом! Випроставши стан –
Юнацьким кроком
З Вами
В тан!
І оплесків грозивий ураган
Зливається в нестерпне сяйво: слава!

Маланюкова «фантазія» має підстави в тому, що Марія Башкирцева була землячкою Мотрі Кочубей: до 12-річного віку вона жила в батьківському маєтку Гавронці біля Диканьки.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Куценко Л. Dominus Маланюк: тло і постать. – К., 2002. – 368 с.
2. Маланюк Є. Трагічний гетьман // Наша зоря. – Ланцут (Польща). – 1923. – ч. 31–32. – С. 8–9. 1997 року стаття Є. Маланюка передруковувалася у кіровоградському журналі «Вежа» (№ 6–7) – за цією публікацією я її й цитуватиму.
3. Маланюк Є. Illustrissimus Dominus Mazepa. Тло і постать // Маланюк Є. Книга спостережень. – Т. 2. – Торонто, 1966. – С. 207. Стаття цитується за цим виданням без подальшого зазначення сторінок.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Володимир Євгенович Панченко – доктор філологічних наук, професор національного університету «Києво-Могилянська академія», головний редактор інтернет-видання «ЛітАкцент». Заслужений діяч науки і техніки України.

Наукові інтереси: історія української літератури XIX–XXI ст.

СТАНОВЛЕНИЕ И СМЫСЛОВОЙ МАСШТАБ ОБРАЗА ЕВГЕНИЯ В ПОЭМЕ А. С. ПУШКИНА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

Андрей ПЕРЗЕКЕ (Кировоград)

У статті розглядається складний творчий шлях Пушкіна до створення образу Євгенія як героя нового типу в російській літературі та поетика його зображення.

The research paper deals with Pushkin's complicated way towards the creation of Eugene's image as a hero of a new type in the Russian literature and the poetics of its depicting.

Цель настоящей статьи заключается в изучении динамики становления и семантической наполненности образа «бедного» Евгения из последней пушкинской поэмы в системе аспектов, недостаточно изученных современным пушкиноведением.

Через неоконченную поэму «Езерский», черновики, к окончательному варианту «Медного всадника» пролегает творческий поиск Пушкиным

современного героя нового типа, адекватного реальности и способного стать авторским инструментом её художественного исследования. Это одновременно и поиск уникальной для самого творца возможности пройти по миру неузнанным им, под маской своего героя, выйти за пределы собственной личности благодаря особому авторскому артистизму, и в тоже время остаться собой. Этой возможностью гениально воспользовались создатели Гамлета, Дон-Кихота, Фауста и тех литературных персонажей, каждый из которых стал открытием, проявляющим различные свойства человека и свойства противостоящего ему мира, и переступил порог эпохи своего рождения, обретя вечность.

В наброске образа Езерского поэт изображает человека с богатой родословной, однако очень скромным общественным положением – коллежский регистратор, совершенно ординарного «по лицу», «по уму», «простого», «смирного». При этом Пушкин декларирует его как героя «повести смиренной», открыто идёт против общественных представлений о «прямых героях», имея на этот счёт своё понимание и ссылаясь на поэтическую свободу, хотя данное направление творческого поиска, конечно же, глубоко обусловлено. Самые последние слова неоконченной поэмы – «малый деловой» – говорят об активной жизненной позиции «кандидата в герои» и том потенциале, который с ним связал Пушкин и который он реализовал в «Медном всаднике».

При обращении к черновикам поэмы открывается картина становления героя как *процесс* (и результат) строжайшего авторского отбора, ведомого замыслом и творческой интуицией, попыток создания сущностных характеристик, привлекавший внимание многих исследователей: В. Брюсова, Н. Анциферова, Б. Мейлаха, Н. Измайлова, Ю. Борева, и вызывающий неоднозначные оценки. Здесь, в своей творческой лаборатории, Пушкин пробует различные смысловые возможности будущего образа. В одном из вариантов он пытается отказаться от родословной героя, говоря, что тот «безродный, круглый сирота», «Без роду, племени, связей», однако затем уходит от таких характеристик. По-видимому, это связано с тем обстоятельством, что истинный герой не мог быть *безродным* – это было проявлением низкой природы человека, могло служить оскорблением, всегда было поводом для презрения. Кроме того, первоначально своего героя Пушкин наделяет многими бытовыми, невыразительными, приземлёнными и даже весьма раздражающими чертами, стремясь найти оптимальный вариант простого, рядового, среднего человека, без признаков идеализации, неординарности.

Даже в таком варианте подобное изображение выступало новаторством в современной художнику литературе и создавало реалистический портрет определённого «низкого» социального типажа. Герой в черновых вариантах наделялся небрежением в одежде («Всегда бывал застёгнут криво / Его зелёный узкий фрак»), постоянными мыслями о деньгах, курил дешёвый

«жуковский табак», а упоминание о нестрогом поведении вполне могло включать и регулярные возлияния. Он намечался действительно как посредственность, человек толпы без проблесков, что подчёркивалось повторяющимся словосочетанием «как все»: «Как все, о деньгах думал много». При этом внешность («Собою бледный, рябоватый»), которую примерял к нему автор, была откровенно приземлённой и не содержала в себе ни одной привлекательной черты. «Чиновник небогатый» был в черновиках одновременно и негордым, и собирался *выпросить* местечко.

В рукописи, представленной на цензуру царю, его мысли о «смиренном уголке» как идеале семейной жизни, действительно, ещё отличаются ограниченностью желаний и приземлённостью:

Я устрою
 Себе смиренный уголок,
 И в нём Парашу успокою.
 Кровать, два стула, щей горшок
 Да сам большой; чего мне боле?
 Не будем прихотей мы знать.
 По воскресеньям летом в поле
 С Парашей буду я гулять.
 Местечко выпрошу...

Вместе с тем, они входят в определённое противоречие с задачей Евгения «себе доставить и независимость и честь», с которой особенно плохо соотносится его негордое стремление *выпросить* местечко. В последнем варианте поэмы с незавершённой правкой Пушкин в этом фрагменте текста создаёт дух благородной бедности и *окончательно уходит* от опредмеченной убогости мечтаний героя, от «остаточной» малости его характера, вводит мотив труда как способ для Евгения скромно преуспеть, и преодолевает это противоречие:

Жениться? Ну... зачем же нет?
 Оно и тяжело, конечно,
 Но что ж, он молод и здоров,
 Трудиться день и ночь готов;
 Он кое-как себе устроит
 Приют смиренный и простой
 И в нём Парашу успокоит.
 Пройдёт, быть может, год-другой –
 Местечко получу... [1, с. 264].

В целом в рукописи, представленной на цензурирование, и затем окончательно в незавершённой рукописи от намеченного, «опробуемого» в черновиках типа простого до примитива героя с его соответствующим отношением к миру Пушкин отказывается. Такой герой, на чью долю должны были выпасть тяжкие испытания в катастрофическом сюжете, с которым должны были быть связаны важнейшие историософские и

философские проблемы, волновавшие поэта, не мог соответствовать масштабу замысла, фигуре Петра, воплощая в себе лишь жалкие, бескрылые поползновения «маленького человека». И, подчиняясь гениальной творческой интуиции, *поэт меняет характер типизации*. Уходит унижительное безродство, но остаётся неназываемое прямо сиротство, исчезают низкие плебейские черты, непривлекательная внешность, убогость желаний, включая «щей горшок». От бытовых деталей осталась одна шинель. Снимая её, Евгений в пространстве поэмы освобождался от незавидной социальной роли мелкого чиновника в грандиозном, но бездушном мире Медного всадника, и оставался в своей суверенной человеческой сути потенциального строителя своего космоса.

Пушкин наделяет героя чувством собственного достоинства, когда он, в частности, хочет не «выпросить», как в черновиках, а «получить» местечко, стремится обрести «и независимость и честь». Между тем, даже один из самых лояльных к герою критиков, Б. Мейлах, считает, что «в белой» версии в Евгении отражена «с реалистической правдивостью крайняя узость его интересов» [2, с. 103], в то время как она осталась в черновиках.

Важно отметить ещё одну особенность окончательного образа. Езерского Пушкин считал равней себе: «Он мой приятель и сосед» [1, III, с. 238], а от типажа, наметившегося в черновиках в обилии бытовых невысоких черт, был на дистанции, несмотря на фактическое цитирование собственных мыслей: «Мой идеал теперь – хозяйка...». После окончательного выбора типажа к Евгению окончательного варианта пушкинское отношение меняется – он явно позиционирует себя на стороне героя, который ему нравственно и духовно (последнее – в двух сценах слияния голосов и позиций) близок, сочувствует ему. И хотя видно, как, создавая Евгения, «разводил Пушкин себя и своего героя, – по выражению Б. Сарнова. – И развёл далеко» [3, с. 47] во внешнем текстовом выражении, внутренняя близость ему, проявляющаяся не только в сочувствии, но и в осязаемом сопричастии, у Пушкина осталась. Применительно к Евгению он мог бы раньше Флобера выразить подобный тип взаимоотношений автора со своим героем, которые уже после него сформулировал французский писатель – «Мадам Бовари – это я».

Пушкинский герой, призванный автором доказать несправедность построенного Петром «умышленного» мира, пройти тяжкий Путь в катастрофическое время, восстать на царя и опомниться, вообрал в себя весь диапазон необходимых автору смыслов. Он предстал изображённым в особой, лаконичной художественной манере, с минимумом детализации, с намёками, недоговорённостями, умолчанием – со многими скрытыми семантиками, постигаемыми логически, неотягощённый материей описаний и мотиваций. Пушкину – мастеру блестящих, полнокровных персонажей во плоти их социально-психологических характеристик в «Капитанской дочке» и «Дубровском», в поэме «Медный всадник» понадобился иной принцип

изображения, в результате которого явился *герой скрытый, непроявленный* во вне своей сущности, таящий в себе до поры огромные силы и имеющий многоплановую архетипическую основу. Другими словами, Евгений предстаёт героем «внутренним», в отличие от Петра, в обеих своих ипостасях проявленного в поэме во вне в своём волеизъявлении. Однако, как очень точно заметил Б. Томашевский, эта мнимая недоговорённость в строительстве автором образа бедного чиновника представляет собой такой особый способ обобщения, вырастающий на основе вполне для него достаточных и по-своему наиболее выразительных конкретных деталей. Правда, при этом, исследователь полагал, что взор повествователя видит в Евгении только то, что делает его воплощением судеб массы, участи большинства [4, с. 374].

В своё время В. Брюсов сопоставил подобные наброски черновых вариантов венчаемые конечным «беловым», и увидел в динамике пушкинской работы над героем постепенное его обезличивание, призванное, по мысли критика, усилить контраст между ним и «державцем полумира», чтобы подчеркнуть незначительность бунтавщика и его человеческое ничтожество [5]. Полемизируя с подобным пониманием «постепенной затушёвки образа Евгения», Н. Анциферов писал: «Тут заметна другая тенденция. Стирая все эти бытовые черты, Пушкин придаёт своему герою всё более и более отвлечённый, призрачный характер, который соответствует требованиям мифа [6, с. 62]. Последняя точка зрения выглядит предпочтительнее и более соответствует принципам пушкинской типизации.

Итак, Евгений – это новаторский образ «внутреннего», до начала трагических событий нереализованного во вне человека, изображённый в специфической манере умолчания. Он раскрывает свои смыслы в окружающем его густом ассоциативно-логическом семантическом поле, где его «малость» предстаёт весьма условной, поскольку проявляется только в одном измерении.

«Нашего героя» Пушкин делает в поэме благородным дважды: его именем и принадлежностью к некогда известному славному роду, игравшему, судя по перу Карамзина, заметную роль в отечественной истории. Эта тема далее в поэме сюжетно не развивается, но, прозвучав, накладывает свой отпечаток на личность героя. Безродность, то есть, неукоренённость, не могла сопутствовать героической личности, какой предстаёт Евгений в поэме, ибо означала, ко всему прочему, отсутствие покровительства предков и близость к хаосу. Кроме того, родовые наследственные качества явно определяют поведение героя, то есть, участвуют в произведении в формировании его образа и типа, что поэтом подаётся как бы мимоходом, однако является существенным.

Евгений, древнюю фамилию которого Пушкин не даёт под предлогом её забытости, «дичится знатных». А ведь даже полунищий обладатель

такого наследства мог претендовать на принадлежность к аристократии, стремиться быть в близости к её кругу, «правильно» себя вести, найти покровителей, умело просить, открывать себе именем вход в кабинеты и гостинные. Это был реальный путь, и значительно позже его успешность покажет Л. Толстой в романе «Война и мир» на примере карьеры отпрыска звучной фамилии Бориса Друбецкого, который именно за счёт «прозвань» путём попрошайничества «вышел в люди». Евгений подобным путём принципиально не идёт – и всё это прочитывается в сверхкраткой пушкинской ремарке. Не будь в обществе такой возможности, появление этой фразы в тексте при строительстве образа героя не имело бы смысла.

Его отношение к усопшим предкам и прошлому выражено поэтом в трёх строках: «и не тужит / Ни о почившей родне, / Ни о забытой старине» [1, III, с. 263]. Они часто выступают объектом исследовательского внимания, нередко подвергаясь весьма тенденциозной и далёкой от пушкинского смысла интерпретации, не избежал которой в данном случае даже такой тонкий и скрупулёзный исследователь «Медного всадника», как Н. В. Измайлов. Способ его прочтения этих строк оказался достаточно типичен и составил грань «негативной» парадигмы, в которой Евгений предстаёт жалким, ничтожным, да к тому же забывшим своё прошлое. «С какой же целью придал Пушкин герою своей «Петербургской повести» такую явно отрицательную черту, как забвение своих предков («почившей родни») и исторической старины, – задаётся учёный вопросом, – очевидно, лишь для того, чтобы показать возможно более отчётливо и всесторонне его «ничтожность», его принадлежность к безличной, но характерной для Петербурга массе мелких чиновников» [7, с. 260].

Однако здесь, на наш взгляд, Пушкин закладывает диаметрально противоположный смысл, демонстрируя «скрытого» Евгения, лишённого низких черт, включая родовое беспамятство. Поэт говорит «не тужит», но не «не помнит» и этим выражается, на наш взгляд, то обстоятельство, что Евгений не предаётся бесплодным сожалениям о том, чего вернуть нельзя. Он обращён не в прошлое рефлектирующим взглядом, лишаящим его носителя жизненной силы, а устремлён в будущее, надеется построить его сам. Герой *прекрасно помнит*, какая кровь течёт в нём, и это имеет выражение в поэтике текста. Он предстаёт не вульгарным, не собирается кланяться, отираясь возле знатных, унижаться, просить, а задаётся жизненно важной целью «себе доставить / И независимость, и честь» тяжким трудом – такова система ценностей героя, где, ещё раз подчеркнём, явно не обошлось без родовой памяти, фамильной гордости, самоощущения «беден, но благороден». Эти свойства Евгения явно берут истоки в образе Езерского, но в «Медном всаднике» предстают усиленными и более определёнными, отражая тенденцию пушкинской работы над ним.

По поводу ума этого персонажа поэмы тоже сложились парадигматические представления как об очень скромном на том основании, что он просит Бога прибавить его. Однако просить ума может только умный

человек, поскольку неумному его всегда хватает. Кроме того, в это понятие герой, по-видимому, вкладывает такой смысл, как умение быть деловым («А впрочем, малый деловой» – так представлял Пушкин Езерского в «Родословной моего героя») и практичным для достижения своих жизненных целей. При этом герой очень трезво осознаёт своё незавидное положение и, исходя из него, строит реальные житейские планы, не являясь бесплотным мечтателем.

Наиболее ярко проявляются умственные способности Евгения в двух сценах прозрения – когда, сидя на льве, он осознаёт страшную хрупкость и иллюзорность человеческого бытия как насмешки высшей силы, и когда переосмысливает фигуру Медного всадника, прозревая его, поднявшего на дыбы Россию, зловещую суть. Это выдаёт в нём образованного, думающего человека с неординарным философским складом ума. Самое интересное заключается в том, что здесь, по наблюдению Б. Сарнова над вторым из упоминаемых эпизодов, но совершенно справедливому и для первого, «герой и автор не разведены: мысленный монолог Евгения как бы сливается с голосом самого Пушкина» [3, с. 56]. А это означает не просто близость автора своему герою, а интеллектуальное равенство их в подобные минуты, передать которое, как видно, входило в пушкинский замысел строительства этого образа. Также можно предположить, что ночные размышления на разные темы, изображенные накануне наводнения, являлись для героя постоянными и, в свою очередь, характеризовали строй его личности, были одним из важнейших признаков проявляющегося в нём типа. Поэтому разговоры об умственной посредственности этого потомка славного рода, встречающиеся в пушкиноведении, выступают безосновательными.

Перейдём к крайне важному вопросу о месте Евгения в мире каменных «громов», созданного Петром. Именно оно, наряду с жизненными планами героя, давало основания считать его «маленьким человеком» и обвинять в ограниченности, убогости, противопоставлении личного государственному. Не следует забывать, что Евгений из «Медного всадника», как и его тёзка из «Евгения Онегина», мог бы по праву сказать, что он «наследник всех своих родных». В данном случае – предков, служивших Отечеству и поэтому удостоившихся карамзинского пера. Следовательно, в нём есть генетическая предрасположенность к подобному служению, есть, как уже отмечалось, чувство собственного достоинства, утвердить которое он положил себе за жизненную цель, сознавая всю сложность этого в мире, где осознавал себя.

«Наш герой», таким образом, готов к напряжённому труду, обладает несомненным умом, способным, кстати, отметить недалёкий ум богатых и ленивых бездельников, эффектом молодости («служит он всего два года») с её естественным энтузиазмом. Оказавшись волею судеб без близких, он полон мужества жить, полагаясь только на себя. Это нравственно привлекательные черты героя, которые не лежат на поверхности. С ними он влачит среди описанного перед этим великолепия жалкое, полунищее существование мелкого чиновника, открывая антиутопическую линию

поэмы и испытывая на себе полную социальную не востребованность, поскольку определён быть на одной из самых нижних социальных ступеней.

Для понимания «спрятанной» семантики образа Евгения важно ещё раз подчеркнуть, что он – сирота со значением покинутости, оставленности, полного одиночества в мире. «Был он беден» – вот ключевая характеристика его положения не только с позиций имущественных, но и во всех остальных жизненных измерениях как следствие сиротства; и принципиальный вывод: ***это не становится результатом его собственного выбора.***

Герой появляется в поэме уже в состоянии фактического, но пока ещё косвенного преследования «Медным всадником» задолго до драматических сюжетных событий. Это связано, прежде всего, с судьбой его теперь забытого, а ранее разгромленного рода в бурную эпоху преобразований, что проявляется и в его нынешнем незавидном положении. Фигурально говоря, и это закреплено в символике расстановки героев, Пётр не разглядел его существования как личности, пренебрёг им и повернулся спиной. Поэтому образ Евгения отмечен двойственностью. Изначальные достоинства, которые с развитием событийной динамики поэмы перерастают в высокие героические качества, до того времени являются содержанием его ***внутренней формы***. Они не нужны миру Петра и оттого оставались непроявленными. А во ***внешней форме*** он предстал бедным чиновником, к тому же не имеющим своего дома и снимающим чужой угол.

Высокий нравственный потенциал, личностная неповторимость, и одновременно внешняя похожесть на тысячи других маленьких, неприметных людей, а перед лицом катастрофы разделение общей судьбы – таковы свойства, характерные для ***героя нового типа в русской литературе***, каким явился созданный Пушкиным Евгений. И сравнение черновиков с последним вариантом поэмы показывает процесс осмысления Пушкиным концепции личности в поэме «Медный всадник» как процесс развития ***внутренней формы героя***, далеко не полностью реализовавшейся во вне до самого конца сюжетного действия, что также обусловило трагизм этого образа. Именно наличие двух ипостасей его воплощения, за которыми – глубокая мысль и несравненное мастерство его создателя, не в полной мере поняты исследователями, способствовали возникновению связанной с ним явной недооценки и прочному «зачислению» в разряд типа «маленького человека», что многие десятилетия способствует искажённому пониманию смысла поэмы.

Евгений, таким образом, предстаёт в «Медном всаднике» жёстко и фатально ограниченным реалиями мира Петра, и одновременно ясно видящим потолок своего социального продвижения, связанный с «местечком».

Но у героя существует другой выход для применения своих жизненных сил. На фоне его размышлений о своём трудном положении и о непогоде, в поэме появляется имя Параша и становится видно состояние влюблённости Евгения. Герой строит планы будущей жизни, связанные с ней. Вся его

созидательная энергия, не имея возможности реализоваться в социуме, оказывается направлена на создание и обустройство семьи. Исключительно личная жизненная программа, за которую Евгения столько раз упрекала пушкинистика, складывается от невозможности иной перспективы, от государства ему нужно только «местечко». В этом положении вещей, согласно логике поэмы, виновен Пётр-Медный всадник, презиравший людей, по мысли Пушкина, больше, чем Наполеон, и «проглядевший» благородного Евгения – так проявляются в поэме грани пушкинского историософского видения. Добавим, что субъективное стремление бедного чиновника к независимости и чести, важное для его самоощущения и самоутверждения, в жёсткой социальной системе мира Петра выглядит едва ли возможным, поскольку, по удачному определению Ю. Борева, «Евгений не попал в круг избранных участников пира жизни» [8, с. 227].

Но, как бы компенсируя это положение вещей в бездушном мире, он стремится устроить себе *свой пир*, простой, скромный и при этом глубоко человеческий, наполненный душевным теплом и семейным счастьем. Отметим, что и в этой сфере герой, по идее, мог бы пытаться использовать своё дворянское имя в поисках выгодного брака, но тогда это был бы иной тип личности и поведения. Евгений искренен и бескорыстен в лучших традициях православного идеала человека, а, кроме того, оказавшись по положению на уровне мещанского городского сословия, легко готов переступить ставшую для него прозрачной сословную грань, подчиняясь человеческому в себе, и *не опускаясь* от этого, как считает ряд исследователей, а напротив, *поднимаясь* над предрассудками своего века вслед за чувством любви. Именно на этой основе и благодаря ней возводятся величественные надстройки городов и государств. В центре этого семейного мира, создаваемого в мечтах Евгения для воплощения в реальности, лежали не какие-либо амбиции, а естественные веления. «Приют смиренный и простой» – тот центр личного мироздания, где царят хозяйство, дети, обыденные житейские заботы, и находятся *Он и Она* – поддерживающие и продолжающие жизнь, идущие по ней «рука с рукой» до гроба и имеющие счастье быть похороненными внуками, в чём проявляется благодатное единство продолженного рода.

Эта картина, рисуемая Евгением в своём воображении, сильнее всего связана не столько с мещанской идиллией, как считает Е. Хаев [9, с. 107], всегда самодовольной, сколько с античными представлениями, запечатлёнными художественно ещё Гомером и Гесиодом. Характерно, что семейный мир Одиссея построен вокруг ложа из спиленного дерева, приобретающего в этом случае семантику *мирового древа*. Такое дерево есть и в «Медном всаднике» – это ива возле дома Параши, хотя данная смысловая возможность осталась здесь нереализованной, как и само семейное счастье героя. Произведения древних авторов были хорошо знакомы Пушкину, и это даёт все основания говорить об античных реминисценциях в его поэме.

В подобных семейных устремлениях Евгения чётко просматривается *космогонический миф*, который определяет любое созидание независимо от его масштаба, в том числе находящееся на уровне идеального замысла, или уже успевшее стать воплощённым. По мнению В. Н. Топорова, «...особая роль космогонии определяется тем, что она выступает как архетип всякого творения, как наиболее естественная и наиболее общая схема творения вообще, как модель любого человеческого действия и механизм порождения всего, что есть в мире, всех его содержаний – как объективных, так и субъективных (сознание)» [10, с. 13].

Таким образом, мечты героя выступают проявлением космогонии, в кругу которой возникает фигура Параши. Вместе с ней проявляется архетипическая схема, позволяющая более определённо видеть античные истоки космогонической основы поэмы: Он и Она прожили долго и счастливо и умерли в один день. Здесь узнаваем миф о Филемоне и Бавкиде, получивших подобную награду от богов. «И станем жить» – эти слова в представлении мечтающего чиновника включают в себя гармонию земного существования вдвоём и делают его участником древнего, как мир, бытийного действия.

Однако по установившейся традиции ряд исследователей подходит, как уже говорилось, к мечтам Евгения иначе. «От мифологической высоты и духовной значимости архетипа (история о Филемоне и Бавкиде) здесь не остаётся и следа: идилличность Евгения насквозь пронизана бытом, она не только не поднимает героя над ограниченностью его существования, но – напротив! – замыкает его в ней», – считает А. Архангельский [11, с. 31]. Но ещё Гомер показывал подробности быта как проявление бытия. В то же время, *приземлённого быта* с запахом жареного лука в этом фрагменте текста у Пушкина нет, а есть прозрачная манера лаконичного изображения, благодаря которой в нём проступают инвариантные бытийные архетипы.

Это относится и к ещё одному мотиву, содержащемуся в попытках героя моделировать будущее и связанных с включение в круг неотъемлимых жизненных ценностей детей и внуков. Подобная преемственность носит социально-генетический характер и в поэме воплощает в себе *архетип рода*, в котором Евгений в таком случае выступает патриархом – традиционной мифологической фигурой. Если же учесть, что сам он является последним побегом на некогда славном родовом древе и носит его «прозванье», хоть и неизвестное нам, то тогда пушкинский герой в роли отца семейства предстаёт и как *связь времён* в качестве продолжателя этого рода.

В этом можно увидеть не лежащую на поверхности и возникающую «автоматически» *идею родового бессмертия* и надежду на возрождение славы во внуках. Древнейшая мифологическая категория **Рода**, манифестирующая земное присутствие человека в его кровнородственной и социальной преемственности, «рифмуется» здесь с остальными

мифомотивами, складываясь в тексте в семантическое и аксиологическое единство. Пожалуй, только Ю. Боров отметил «человечески великие мечты Евгения о счастье», хотя и назвал их тут же «державно малые» [8, с. 224], с чем трудно согласиться.

Таким образом, в поэме перед нами мелкий чиновник, и только в этом узко социальном смысле, а не как человеческий тип, предстающий «маленьким человеком» в мире Медного всадника. Он вытеснен всем строем этого мира в бедность и почти бесперспективность на обочину жизни, лишён возможности общественно значимой созидательной деятельности. Поэтому весь свой космогонический потенциал Евгений стремится реализовать исключительно в сфере *эроса*, устройства семьи и продолжения рода, выступая по своему внутреннему масштабу **онтологически значимой личностью**, в своём нравственном содержании становясь этим выше Петра с его государственными заботами, не одухотворёнными человечностью. Он пребывает нереализован, непроявлен в атмосфере «новой столицы» не по своему выбору, а затем оказывается остановлен в своих онтологических планах сверхличностными причинами, терпит бедствие, попадая под удар катастрофы, становится действующим лицом трагедии и, соответственно, **трагическим героем**, что, заметим, никогда не свойственно статусу «маленького человека».

Для типа героя, воплощённого поэтом в образе Евгения, характерно то, что он не строитель города и не победитель врагов, а частный человек, жизненные устремления которого полны в то же время онтологических смыслов, а человеческая сущность отмечена высокими нравственными качествами.

Пушкинский персонаж выписан реалистическим пером, и в соответствии с творческими задачами автора при этом совершенно не идеализирован. Поэтому в поэме герой при всех своих внутренних достоинствах думает о деньгах, поэтому же он использует чиновничий сленг окружающей его среды, размышляя о «местечке». Всё это, включая нормальные человеческие эмоции тревоги, испуга, не снижает масштаба личности героя, но *придаёт ей житейскую достоверность наряду с онтологической значительностью*, которую усугубляет также мотив непростого происхождения, несущий в себе смысл былой укоренённости в допетровском мире «старой Москвы». Отсюда для образа Евгения характерна *двойственность*, складывающаяся из его *обыденных и высоких черт*, и не нарушающая реалистической целостности этого *новаторского типа героя* русской литературы.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10-ти томах. – М.: Правда, 1981. Далее цитаты даются по этому изданию с указанием в тексте тома и страницы.
2. Мейлах Б. С. Творчество А. С. Пушкина. Развитие художественной системы. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.

3. Сарнов Б. Бывают странные сближенья: «Медный всадник». Взгляд из двадцать первого века // Вопросы Литературы. – 2002. – Вып. 5. – С. 45–74.
4. Томашевский Б. В. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии. (1824–1837). – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – 581 с.
5. Брюсов В. Я. Медный всадник // Собр. соч. в семи томах. Т. 7. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 30–61.
6. Анциферов Н. П. Миф о «строителе чудотворном» // Быль и миф Петербурга. – Петроград: Изд-во Брокгауз – Эфрон, 1924. – С. 49–83.
7. Измайлов Н. В. «Медный всадник» А. С. Пушкина: История замысла и создания, публикации и изучения // Пушкин А. С. Медный всадник. – Л.: Наука, 1978. – С. 147–265.
8. Боров Ю. Искусство интерпретации и оценки. Опыт прочтения «Медного всадника». – М.: Сов. писатель, 1981. – 400 с.
9. Хаев Е. С. Идиллические мотивы в произведениях Пушкина 1820–1830-х годов // Болдинские чтения. – Горький: Изд. Горьковского ун-та, 1984. – С. 104–109.
10. Топоров В. Н. Предисловие // Евзлин М. Космогония и ритуал. – М.: Радикс, 1993. – С. 7–28.
11. Архангельский А. Н. Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». – М.: Высш. школа, 1990. – 95 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Перзеке Андрій Борисович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури і компаративістики КДПУ ім. В. Винниченка.

Наукові інтереси: проблеми міфопоетики, принципи структурно-семантичного аналізу тексту, теорія мотиву та інтертекстуальності, творчість О. С. Пушкіна та її вплив на російську літературу ХХ століття.

У ПСИХОАНАЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ РОМАНУ „АНДРІЙ ЛАГОВСЬКИЙ” АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

Андрій ПЕЧАРСЬКИЙ (Львів)

Стаття присвячена проблемі психоаналітичного виміру автобіографічної основи роману „Андрій Лаговський” А. Кримського. Матеріалом для дослідження стали психологічні моделі поведінки персонажів у творі. Методологічний інструментарій охоплює здобутки психоаналітичного підходу, зокрема інтерпретації З. Фрейда, К. Хорні, Е. Фромма та ін.

The article is dedicated to the problem of psychoanalytical autobiography model in a novel „Andriy Lahovsky” A. Krymskyu. The materials for researching are psychological models of behaviour of haracters in the storie. The methodological tools involve the achievements of the psychoanalytical approach, also interpretation of Z. Freud, K. Horney, E. Fromm and others.

Колись Г. Флобер казав: „Пані Боварі – це Я!”, ідентифікуючи особистісні якості з образом своєї героїні. Психосемантичний зміст трансформації лібідо відсилає нас до фрейдівського розуміння творчої енергії людини, що в конкретному випадку відтінює негативну форму едіпового комплексу. На відповідну „алхімію слова” миця натякав і Ян Парандовський, пишучи, що „Флобер рекомендував письменникам статеве